

Шелкунова А.А.

КОЛЮЧЕЕ СЛОВО КОЛЫМА

В начале июня 1939 года нас неожиданно повели в общую тюремную баню и мы после нескольких лет одиночек и камер на двоих впервые встретились с другими обитательницами Ярославской тюрьмы. Все дико смотрели друг на друга, испытав буквально шок от этой встречи.

Через несколько дней нас вызвали «с вещами» (а всего-то вещей - бушлат и полотенце) и, посадив в «воронок», повезли на вокзал. Там нас ждали телячьи вагоны с двойными нарами.

Мне повезло: в вагоне на одних со мною нарах оказались образованные, интеллигентные женщины: Варвара Гвахария, жена директора крупного металлургического завода; московская журналистка Ася Игнатьевна Гудзь; Мира Кизельштейн, биолог, выпускница Московского университета; Циля Рубинштейн, тоже биолог; врач Неха Лурье. Потом, уже в Москве, я дружила с Мирой и Нехой. А теперь из нас шестерых в живых осталась я одна.

Варю Гвахария сняли с этапа еще в Иркутске. Начальник конвоя вошел в вагон и вызвал ее «с вещами». И тихо добавил: «Повезут в Москву». На мои слова о том, что, может быть, знавший ее лично Берия что-нибудь для нее сделает, она успела мне шепнуть: «Не говори глупости, это страшный человек!» С тем ее и увели из вагона.

Староста вагона, бывший партработник Гусакова, грозила нам, что будет «давать характеристики». Она никак не могла привыкнуть к своему арестантскому положению, к тому, что и у нее срок 10 лет. Ася и Варя, когда я резко говорила со старостой, набрасывали мне на лицо бушлат.

С первых дней Варя скрашивала нашу этапную жизнь рассказами о Лондоне, где ее муж в начале тридцатых годов был торгпредом, о музеях и картинных галереях. Однажды, в какую-то из памятных дат, они побывали на могиле Маркса на Хайгейтском кладбище. Тогда у его могилы встретились английские коммунисты и русские меньшевики. Те и другие несли плакаты, на которых было написано: «Не оскверняйте могилу Маркса».

Тяжелое воспоминание оставил ее рассказ о голоде на Украине в тридцатые годы, когда на улицах Енакиева валялись трупы умерших от голода людей. Ее муж — директор Енакиевского завода — получал пайки, так что сами они с девятилетним сыном Отарием не голодали.

Мы с ней сразу сдружились, и когда в Иркутске за ней пришли, то конвоиры разжимали наши крепко сцепленные руки.

Никогда мне не снились такие тягостные сны, как в том долгом пути от Ярославля до Владивостока. Я боялась их и, прежде чем заснуть, долго лежала с открытыми глазами: знала, только закрою их - придут арестовывать... Вот они перетряхивают мои вещи, книги, фотографии. Вот ведут по улицам ночного Томска. Метет поземка... Подвал - тюрьма под зданием ГПУ.

Утром допрос, на котором я узнала, что арестовали меня за знакомство с Николаем Ивановичем Мураловым - у него нашли мою поздравительную открытку с обратным адресом. Одного этого оказалось достаточным, чтобы обвинить меня как участника троцкистской террористической организации.

Следователь говорил, что я, студентка биофака, занималась в университете троцкистской агитацией.

Свою причастность к троцкистам я начисто отрицала. На допросе сказала, что возмущена жестоким указом о привлечении детей с 12 лет к уголовной ответственности — вплоть до расстрела.

Это «признание» следователь пропустил мимо ушей — думаю, не потому, что пожалел меня, а просто боялся записать такое своей рукой и держался в рамках «троцкистского сценария».

В камере, надев рукавицы, я цеплялась за трубу отопления, чтобы через крошечную форточку увидеть на противоположной стороне улицы моих товарищей и друзей, идущих в Университет. ГПУ помещалось на главной улице Томска - проспекте Ленина.

Примерно через месяц меня отвезли в Новосибирск, во внутреннюю тюрьму. Женщины, с которыми я встретилась в камере, стали спрашивать, за что я попала. Я ответила, что за знакомство с Мураловым. Оказывается две из моих сокамерниц работали под его началом: Маруся Вдовина и Катя Околокулок.

Маруся научила меня технике перестукивания. Через два дня я уже бойко перестукивалась с соседней камерой. Вторым криминальным занятием было смотреть в окно, которое выходило на прогулочный двор. Кто-нибудь загораживал дверь с волчком, а остальные приоткрывали окно и смотрели, кто гуляет во дворе. Через несколько дней мы увидели Николая Ивановича Муралова. Мы все трое выглянули в окно, и Катя спросила его: «Николай Иванович, было ли хоть какое-то дело?». Муралов сказал: «Дело Бейлиса».

Через несколько дней Муралов исчез. Каков был ужас, когда из случайно попавшей к нам газеты мы узнали, что Муралова судили в Москве и расстреляли. Нам было трудно поверить, что этот красивый, гордый человек, солдат, которого Ленин приказал назначить командующим Московским военным округом, на суде признавался в чудовищных преступлениях. Какие методы воздействия к нему для этого применяли?!

Я благодарю судьбу за то, что ко мне и моим сокамерницам тогда, в 1936 году, еще не применяли пыток. Человек не знает порога боли, которую он может перенести. Я счастлива, что мне не пришлось оговаривать Николая Ивановича и других.

В Новосибирске моим следователем был вполне интеллигентный человек - Барковский. Он изредка приносил мне книги, и мы читали всей камерой. Однажды я его спросила: неужели он всерьез верит, что я - член троцкистской организации. Он ответил: «Нет, конечно, попробую доложить о вас новому начальнику Новосибирского ОГПУ Курскому». Ничего хорошего от этой «высокой аудиенции» я не ждала: по приказу Курского прогулочные дворы, утопавшие в цветах, в одну ночь были заасфальтированы.

Привели меня в кабинет начальника ОГПУ, и получился разговор глухих: Курский призывал меня «разоружиться». Я говорила, что я не троцкистка. Попытка следователя Барковского хоть как-то облегчить мою участь окончилась ничем. Вскоре по тюрьме поползли слухи, что Барковский арестован.

По «тюремному телефону» сообщили, что в соседней мужской камере сидит Виктор Жернаков - редактор пионерского журнала «Товарищ», выходявшего в Новосибирске. С Виктором я училась в седьмом классе. Вторым был Герман Кононов, которого я также знала с юности.

В 1928 году отец Германа Кононова вместе с другим крупным инженером из Сибводпути Гаккелем были вызваны в Москву. Из Новосибирска они уехали... и таинственно исчезли. Герману Кононову и его однокласснику Андрею Гаккелю было по пятнадцати лет, и матери отправили их в Москву искать отцов.

Им было велено в несколько тюрем отнести передачи на имя отцов. В Бутырской тюрьме передачи не приняли. Тогда мальчишки пошли на Лубянку. Там передачи приняли. Позже отцы «нашлись» на Беломорканале. Оба были крупные гидротехники. По окончании строительства канала они были освобождены и награждены орденами. Теперь, в 1936 году пришел черед сына Кононова попасть в тюрьму.

Меня за «строптивость» перевели в одиночку. Вскоре одиночка понадобилась для какого-то более важного «преступника», и меня вернули в общую камеру. За это время в камере появилась Конкордия Ивановна Цедербаум - жена брата Мартова. Еще раньше она объявила голодовку, и была так слаба, что ее на одеяле унесли в больницу.

Уже в Москве, в 90-е годы, я познакомилась с племянницей Мартова Тamarой Поповой, которая мне рассказала о том, что Конкордию Ивановну из Новосибирска привезли в Москву и расстреляли.

Протестуя против предъявленных мне обвинений, я объявила голодовку. Через восемь суток меня перевели в тюремную больницу, чтобы принудительно кормить. Пришлось прекратить голодовку.

Привели из больницы - в камере новая заключенная - шестнадцатилетняя Дуся. Когда ей было десять лет, их раскулачили и выселили в избушку на краю села. Вся большая семья примирилась с неизбежностью, а Дуся прибегала в свой дом, чтобы полить керосином фикус или нагадить в подвале. Родители за такие «художества» ее наказывали, но она все норовила насолить новым хозяевам. В начале зимы их семью выслали в Нарым. Не было ни лопат, ни пил, ни топоров. Копали руками норы-землянки, в которых от голода и тифа перемерли почти все ее родные.

Дуся сбежала из Нарыма, и как-то вышла на людей, которые вели борьбу с советской властью. Дуся работала в колхозе прицепщицей на тракторе и подсыпала песок, чтобы портить трактор. Хозяйка дома, где жила Дуся, обнаружила ее безграмотные записки. Узнав, чем занималась Дуся, женщина плача уговорила ее пойти и покаяться. Что Дуся и сделала. Ее арестовали.

Когда стали заполнять анкету, в графе «род занятий» она потребовала, чтобы ей написали «вредитель советской власти», на другую формулировку она не соглашалась.

Следователь решил дать Дусе очную ставку с главарем их организации. Это был татарин, бухгалтер. Однажды меня вели на допрос, и во дворе мы с ним встретились. Я запомнила этого рослого человека с волевым и даже хищным лицом. Когда следователь сказал Дусе, что сейчас его приведут для очной ставки, она схватила со стола следователя чернильницу и решила отравиться. Облилась сама и испачкала следователю китель. Очная ставка не состоялась. В камеру ее втолкнули, лиловую от чернил. Мне пришлось ее отмывать, и я ей объяснила, что чернила не отравы, что ими нельзя причинить себе никакого вреда. Следователь обещал, что ее отпустят, но мы ей сказали, что она получит десять лет. Мы не могли без ужаса смотреть на ее однодельцев. Изможденные, зеленые, в рубище, они брели по прогулочному двору, еле держась на ногах. Видимо, их долго мучили в КПЗ в районах, где их арестовывали. Большую часть ее однодельцев расстреляли, а Дуся получила десять лет. Она очень боялась попасть с оставшимися в живых в один лагерь, считая, что они ее убьют.

Не успела еще наша камера опомниться от этой кровавой драмы, как стало известно о расстреле сибирских железнодорожников.

Сибирская дорога была одноколейная. Строили Комсомольск-на-Амуре, укрепляли границу, дорога была перегружена, были крупные аварии. По дороге проехал «железный нарком» Лазарь Каганович и сказал, что он «железный метлой выметет всех вредителей». «Вредителей» везли пачками со всей Сибири - начальников станций, машинистов, дорожных

мастеров. Больно было смотреть на этих напуганных дядечек с большими рабочими руками в мятых форменных куртках.

Расправились с ними за три дня: день - «следствие», день — трибунал, и на третьи сутки перед рассветом гудели воронки, увозя их за город на расстрел. Меня мучила тяжелая бессонница. Только на рассвете я смыкала глаза, но звук воронка отгонял сон. Перед глазами вставала страшная картина расстрела. После мы узнали, что это происходило на окраине Новосибирска, около тюрьмы, в которую нас позже перевели.

Двум женщинам из нашей камеры удалось добыть газету. Ее нашли - их посадили в карцер рядом с камерой малолеток. Слышимость между камерой и карцером была хорошая, и женщины разговаривали с детьми. Те рассказали, как они попали в тюрьму - кто за разбитое окно, кто за дерзкий ответ учительнице. Все эти детские проступки квалифицировались как «хулиганство». Им полагалось какое-то дополнительное питание, но оно разворачивалось тюремной обслугой и дети сидели на скудной тюремной баланде и жидкой каше. Вечером наши женщины услышали в камере, где сидели дети, какую-то странную возню и затем душераздирающие крики детей. Оказывается, надзиратели за взятку пустили в детскую камеру блатных, которые стали детей насиловать. Слыша вопли детей, женщины в карцере колотили мисками по обитой железом двери, но ни дикий грохот, ни вопли истязаемых детей не привлекли внимания подкупленных надзирателей.

Утром, когда наших сокамерниц выпустили из карцера, они вернулись в ужасном состоянии.

Пережили мы еще одно страшное потрясение - расстрел кемеровцев. В это время в Новосибирске коллегия Верховного суда проводила «открытый процесс» над группой инженеров из Кемерово. В Кемерово на шахте произошел взрыв метана, были человеческие жертвы. Этот взрыв был расценен как «вредительство».

«Вредителями» на шахте были признаны начальник шахты, главный инженер и все инженеры и техники, работавшие в смене, когда произошел взрыв. Сразу же после суда в соседнюю с нашей камеру привели двух инженеров, приговоренных к расстрелу. В нашей камере до нас бытовики расковыряли большую дыру около трубы отопления: видимо, передавали соседям курево, карты. Моя кровать стояла рядом с дырой в камеру смертников. Две мои сокамерницы, Аня Шиманская и Маруся Вдовина, до ареста жили в Кемерово и лично знали приговоренных. Вечером обе они, изобразив на своих кроватях из одеял и простыней фигуры спящих, залезли под мою кровать и стали говорить с ними. Один из них - инженер по фамилии Шубин, сдержанный, немногословный. Ему было двадцать девять лет. Второму, моему ровеснику, двадцать четыре года. Звали его Михаил Куров. Он был воспитанник детдома, только успел кончить горный институт и проработал немного больше года до взрыва. Такой короткий и горький путь - обвинение во вредительстве и приговор — расстрел. Приговор

был окончательный и обжалованию не подлежал. Мне теперь семьдесят восемь лет. С той страшной ночи прошло пятьдесят четыре года, но эти воспоминания о последних часах на земле ни в чем не повинных людей приходят ко мне часто во время бессонницы, и я вновь и вновь переживаю эту ночь.

Лежа на своей кровати, я слышала слово в слово все, что говорил Куров. «Я хочу жить, я ни в чем не виноват. Передайте Солнцеву (его друг), что я умираю комсомольцем». У него не было семьи, близких, только друг Солнцев, которому он адресовал свои последние слова.

Часов у нас не было, но примерно часа в три ночи загремели засовы. Шубина и Курова увели. Утром женщины из нашей камеры пошли мыть тюремный коридор и надзиратели предложили им взять продукты, оставшиеся после расстрелянных - женщины от этого «дара» отказались. Им удалось через бытовиков добыть газету, в которой мы прочли о процессе над кемеровцами. Всего на процессе обвинялось одиннадцать человек, но двое остались жить — они «помогли следствию» как «свидетели вредительства» девятерых.

Маруся Вдовина, которая до последней минуты говорила с Куровым, увидела на прогулочном дворе двух оставшихся жить: это был техник с кемеровской шахты, а второй - инженер-армянин. Приоткрыв окно, она им погрозила кулаком и крикнула: «Какое вредительство, где вы видели?» Они что-то испуганно забормотали.

13 апреля 1937 года меня привели на Военную коллегия Верховного суда. Я прощалась с непрожитой жизнью и думала о том, что меня ждет судьба Михаила Курова, что у меня впереди только одна ночь. Перед председателем Коллегии лежала стопка приговоров, заготовленных заранее. Я смотрела на членов коллегии - нормальные человеческие лица, вроде не злодеи, но почему они так спокойно и буднично вершат свое неправо дело?! Я поняла, что мы, «судимые», для них не реальные люди, а просто «абстрактные враги».

Объявили о том, что суд удаляется на совещание. Дверь в совещательную комнату осталась открытой. Я увидела стол с фруктами, конфетами и пирожными. «Совещающиеся» шутили, смеялись.

В последнем слове я говорила о нелепости предъявляемых мне обвинений. Меня никто не слушал, и единственно, чего я добилась, это в приговоре, где заранее напечатали — в дополнение к 8-летнему сроку - 3 года поражения в правах, от руки было вписано: «5 лет поражения в правах».

После объявления приговора мне поднесли полную рюмку валерьянки, заранее предполагая, что от такого решения человек должен падать в обморок. Я обрызгала себя валерьянкой, думаю, что и конвоирам, стоявшим рядом со мной, досталось. Валерьянкой после решения Верховной коллегии поили как женщин, так и мужчин.

В камере после суда нас продержали не больше двух часов, а затем перевезли в воронке в какое-то помещение с решетками, где мы сидели на подоконниках и батареях - скамеек не было. Вместе были осужденные женщины и мужчины. Позже мы поняли, что нас держали, пока на станции формировался состав из вагонов, чтобы везти по тюрьмам. В столыпинском вагоне мы, женщины, занимали одно купе. Все остальные были заполнены мужчинами. В дороге по распоряжению начальника конвоя нам из станционных буфетов приносили горячий обед, за который мы расписывались. Кажется, на четвертый день нас привезли в Ярославль. На соседнем пути стоял пассажирский поезд. Против нашего вагона, из которого нас, женщин, вывели, был вагон-ресторан, на его ступеньках — две женщины - буфетчица и официантка. Обменявшись с нами несколькими словами, они расплакались. В тюрьму нас везли в кузове открытой машины, по дороге мы видели золотые главы ярославских церквей и Волгу.

Двадцать пять месяцев в камере и карцерах ярославской тюрьмы. А потом - этап на Колыму.

В этапе до Владивостока нам давали кружку воды (четверть литра) в день.

Моя соседка по камере в ярославской тюрьме Катя Околокулок ехала в нашем вагоне, в другом конце его. Катя – убежденная троцкистка. Все, происходящее со страной и нами, ей было ясно. А я не верила ни Сталину, ни Троцкому, хотела сама во всем разобраться. Менторский тон ее доводил меня до белого каления. Люди абсолютно несовместимые, мы двадцать пять месяцев были обречены быть вместе - и ни разу не поссорились, но здесь, в вагоне, старались не замечать друг друга.

Мучаясь от жажды, мы доехали до Владивостока.

Поселили нас в лагере на Черной речке. Пробыли мы там почти месяц.

В июле нас в трюме корабля «Джурма» доставили на Колыму. Катя тяжело болела пеллагрой, и ее на этап не взяли.

Мира Кизельштейн рассказала мне уже в Москве, что Катя Околокулок умерла в лагерной больнице на Черной речке в 1940 году.

...Привезли нас, тюрзаковский этап, в Магадан, на Женолп³. Сразу же послали работать на прокладку отопления и канализации. Я работала сначала на рытье траншей, а после меня взял подсобницей заключенный мастер по канализационным колодцам.

Работа была тяжелая и длилась двенадцать часов в день. Ночью не давала спать боль в руках, не привыкших к тяжелой работе.

Мой мастер принес письмо с «воли», в котором говорилось, что создана комиссия по пересмотру дел под председательством Рычкова. Рычков

был председателем судившей меня Военной коллегии. Я помнила его жестокое холодное лицо с пустыми глазами, и должна была огорчить своего мастера: от человека с такими глазами трудно ждать какой-то справедливости.

В середине сентября меня и других тюрзаковцев направили этапом в совхоз «Сусуман» на 670 км колымской трассы. Сусуман — не самое тяжелое место на Колыме: там был совхоз, и женщины не работали в тайге на лесоповале.

В совхозе нас ждала работа по двенадцать-четырнадцать часов в сутки. Двенадцать часов - основной рабочий день, и два часа - на строительстве теплиц. И все-таки в совхозе была, хоть и тяжелая, но терпимая жизнь!

Я была самая молодая из наших тюрзачек и поэтому все полтора года работала на самых тяжелых работах - корчевала пни, кайлила торф, загружала теплицы землей и торфом. Каждое утро, когда я приходила с разводом на работу в совхоз, меня встречал на агробазе вольный бригадир Богодайко и спрашивал: «Шелкунова! Пойдете работать в теплицу?». Я отвечала: «Нет!» Тогда он говорил мне: «Берите кайло и лопату. Идите кайлить торф». Сцена эта происходи

1 Женский отдельный лагерный пункт.

ла ежедневно. Я не соглашалась идти работать в теплицу, зная о «любовных поползновениях» бригадира. Морозы стояли в Сусумане - 50—60 градусов. Молодой татарчонок-нарядчик участливо спрашивал меня: «В теплицу не хочешь? Лучше на мороз! Молодец!» Западная украинка Катя говорила: «Богодайко, як кит на сало на нашу Тосю облизуется».

В первую зиму в Сусумане мы жили в бараке с бытовичками. Они не имели привычки сушить свои валенки. А мы сушили очень тщательно, иначе работать на морозе было невозможно.

Рано утром, собираясь на развод, я не нашла своих валенок, вместо них остались какие-то крохотные маломерки, в которые я не могла влезть. Растерянная, я осталась в бараке. С вахты пришел комендант и повел меня в карцер за невыход на работу. Нужно сказать, что очень часто на вечерних поверках нам зачитывали приговоры «саботажницам». «Саботажницами» были религиозницы, по убеждениям не работавшие по воскресеньям. Приговор за «саботаж» был один — расстрел. Причем в назидание другим всегда сообщалось о приведении приговора в исполнение.

Я уже не помню, что я надела на ноги, чтоб дойти до карцера. С меня сняли бушлат и втокнули в карцер, который не отапливался. По счастью, бригадир агробазы Богодайко, привыкший по утрам

спрашивать, пойду ли я работать в теплицу, хватился меня и передал на вахту, что я работала лучше всех. Часа через три меня из карцера выпустили и нарядчик спросил: «Тебя били?» Меня не били, но я очень замерзла в карцере. Невыход на работу мог стоить мне жизни. Одна из наших тюрзачек Лина Холодова, отвратительный человек, сказала: «Надо поговорить с "шалашовками" (так называли воровок) и мы подведем тебя под расстрел».

Вскоре меня перевели в подконвойную команду и послали корчевать пни. В первый день мы работали с Зиной Бауман. Мы обрубали топорами крупные корни, затем ломом подцепили пень и, повиснув вдвоем на ломе, пытались пень вытащить. Он не поддавался - его удерживали крепкие тонкие корни. Вохровец с ружьем на плече подошел к нам, с силой нажал на лом - и пень вылез. На следующий день он сказал своему сменщику: «Этим надо помочь. У них "женихов" нет». Новый тоже помогал нам. Эти простые деревенские парни после демобилизации из армии не возвращались в колхоз, а шли в ВОХР, они привыкли уважать людей за хороший труд.

Долгое время моим напарником на кайловке торфа был грек-пекарь из Новороссийска. Он сильно страдал из-за морозов, а я была сибирячка и морозы переносила сравнительно легко. Поэтому я старалась чаще отпускать его в инструменталку погреться. Мне тогда было двадцать пять лет, и Николай (фамилию его я забыла) казался мне очень старым, хотя теперь я понимаю, что ему едва ли было пятьдесят лет, но тюрьма и прииски вынули из него всю душу. Он рассказывал, как в тюрьме узнал о смерти пятнадцатилетнего сына.

Следующей зимой я по-прежнему работала на морозе - кайлила торф, чистила крыши теплиц, корчевала пни и, несмотря на пятидесятиградусные морозы, ходила в валенках, подшитых мешковиной в несколько слоев. Мешковина быстро протиралась, и чуть не каждый вечер я носила валенки в сапожную.

Однажды ночью из-под головы у меня вытащили ватные брюки, без которых работа на морозе превращалась в пытку.

Моего бывшего напарника грека Николая взяли работать в пекарню. От женщин он услышал, что я работаю на морозе без ватных брюк, а у него оказались запасные. Он принес в прачечную эти брюки, попросил их выстирать и передать мне. Он объяснил прачкам: «Он (то есть я) был добрым, меня жалел и посылал часто греться. Теперь давайте ей эти брюки».

Мы жили в одном бараке с уголовницами. Среди них встречались весьма выразительные фигуры. Помню воровку с детства Нину. Она была красивая, стройная и вся в наколках: «Люблю Васю», «Не забуду мать родную»... Наколотипа «Люблю...» было много с разными именами. Нинка была на редкость способная. Когда мы с ней работали на сеялке, я любовалась, как она ловко и быстро все делает! В лагере она снабжала

меня заказами на носовые платки для очередных своих обожателей. Расплата за мой труд производилась хлебом. Однажды я ей сказала, что хлеб мне понадобится позже. Когда я пришла к ней получать причитающийся мне гонорар, Нинка сказала: «Вроде ты умная, а открыла шалашовке кредит. Теперь у меня уже другой хахаль. Надо было брать, когда давали».

Я думаю, что, если бы Холодова, грозившая поговорить с шалашовками, чтобы подвести меня под расстрел, обратилась к Нинке, та бы ничтоже сумняшись поддержала ее, помогла бы «разоблачить контру». В то время «разоблачать врагов народа» никто из уголовников не считал зазорным.

В начале марта 1941 года, нам, заключенным, работавшим в совхозе «Сусуман», на разводе объявили, что нас этапируют. Куда этапируют, сообщать было не принято. На сборы дали два часа. Сборы наши были недолгими, так как большую часть «имущества» мы надели на себя. С собой были лишь небольшие узелки.

К вахте подогнали «студебекер», к кузову которого был приколочен деревянный каркас, на котором болтались обрывки брезента, трепыхавшиеся на морозном ветру. Ведь в Сусумане в марте не редкость — 50 градусов. Нас, человек пятьдесят женщин разного возраста, усадили на дно кузова на корточках. Посредине поместился конвоир. Очень быстро мы перестали чувствовать свои ноги — при невозможности пошевелить ногами валенки не спасали.

В этап попали большей частью женщины, с которыми в сентябре 1939 года меня этапировали в Сусуман.

В Магадане нас привезли в лагерь Промкомбината, в котором было около тысячи заключенных. Он размещался на крошечном пятачке. Главное здание была бывшая баня, в ней столовая и помещения для з/к с нарами, но без окон.

Женщины работали на швейной фабрике, на ватной фабрике и в утильцехе. На швейной фабрике женщины-з/к трудились на конвейере, трудились в две по двенадцать часов смены. Нормы тяжелые. Питались скверно. На работе задыхались от пыли. Мы, с нашими загорелыми на ветру и солнце лицами, были разительным контрастом с мертвенно-бледными аборигенами «швейки» - так называли фабрику лагерницы. Почти все они страдали куриной слепотой, недержанием мочи.

За полтора года в совхозе мы привыкли к грубости и хамству и поэтому странно для нас звучали забытые нами слова: будьте добры, пожалуйста, извините.

Столовая помещалась в бывшей бане. Там были красивые шторы. Правда, из марли, но выглядели очень нарядно, разрисованные кленовыми листьями. На столах были клеенки и непривычно чисто.

Полуголодные женщины, работавшие на «швейке», любили «готовить» — так они называли словесные упражнения по кулинарии. Было в этом что-то от голодного психоза. Однажды я стала свидетелем такой «готовки»: они с упоением составляли меню, подбирали подливы и гарниры к еде, существовавшей в их воображении. Они были возбуждены, в глазах голодный блеск, и был этот «пир во время чумы» страшен!

К моей великой радости от «швейки» и конвейера мне удалось спастись — меня отправили на рыбные промыслы. Там мы и узнали о начале войны.

Нас привезли в Магадан. Каждая гадала: «Что-то нас ждет?..». В войну Колыма досталась нам очень тяжело, да и послевоенные годы были не легче. Единственное светлое воспоминание - мои дорогие, мои любимые подруги: Оля Слиозберг, Павочка Мясникова, Зоя Марченко, Ада Федерольф, Зора Гандлевская... В лагере я познакомилась с Гизой Лихтенштейн - эмигранткой из Австрии. Юной комсомолкой она приехала к нам, в страну своих грез, чтобы пройти скорбный путь тюрем и лагерей. Она была человеком с «прозрачной душой». Она понимала людей, жалела их и прощала им то, что никогда не простила бы себе. Я за свою жизнь не встречала человека с такой душой, как Гиза.

Уже много лет живу в Москве... Но и теперь с волнением повторяю стихи Елены Тагер, написанные сразу после нашего освобождения:

До нас домчался ветер с юга,

Из края ласковых чудес,

Где не пурга, а просто вьюга,

Где не тайга, а просто лес;

И отступилась, миновалась

Десятилетняя зима,

Та, что у нас именовалась

Колючим словом Колыма.